

## **Андрей Бѣлый и его воспоминанія**

Андрей Бѣлый был исключительно даровит. Никто никогда этого, кажется, не оспаривал. Валерій Брюсов, цѣнитель сдержанный, суховатый и умный, отнюдь не склонный к торопливой восторженности, записал в 1902 году в дневникѣ, побесѣдовавъ с юным студентом:

— Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химіи. Это едва-ли не интереснѣйшій человекъ в Россіи.

Правда, года три спустя, он сказал ему, — как сам Андрей Бѣлый в «Началѣ вѣка» рассказывает:

— Хорошо умереть молодым! Вы, Борис Николаевич, умерли бы пока молоды; еще испишетесь, переживете себя! А теперь — как раз во время.

Но это была шутка, — во всяком случаѣ, по формѣ. Если не совсѣм случайно Брюсов пошутил именно так, то неясно, все-таки, предвидѣли ли он в самом дѣлѣ, что Бѣлый «растратит свои дары». Совсѣм недавно, послѣ смерти Бѣлаго, многіе, встрѣчавшіеся с ним, повторили — в некрологах, письмах или частных бесѣдах — почти в точности слова Брюсова. «Едва-ли не интереснѣйшій человекъ в Россіи». Повторил это в Москвѣ Борис Пастернак, узнавшій Бѣлаго довольно поздно. Замѣчательно, однако, что если никто никогда не оспаривал этого, то никто никогда этого и не сказал, не добавив тотчас же одного короткаго, необходимаго слова: слова — «но». Нельзя написать, что Бѣлый был необыкновенно талантлив или даже, — по распространенному мнѣнію, — гениален, не спохватившись тут же и не принявшись об'яснять, себѣ или другим, почему, все-таки, мало надежд, что имя его в русской литературѣ прочно и надолго удержится. Об'ясненія спорны. В наше время все так стремительно уносится и измѣняется, что спорно для по-революціонных поколѣній и самое утвержденіе исключительности Андрея Бѣлаго. Главное же, они, эти поколѣнія, не совсѣм улавливают, почему

современникам Бѣлаго так тягостно теперь говорить о нем, почему творческое и жизненное его крушеніе воспринимается ими болѣзненно, а его издѣвательство над всѣми друзьями и бывшими пріятелями — с досадой и грустью. Удивительный и странный был человек! Вот перед нами три тома его мемуаров: удивительная и странная книга, необыкновенная по мѣткости отдѣльных характеристик, по яркости и своеобразію безчисленных картин, необыкновенная в нѣкоторых главах по какой-то «растерзанности ненасытнаго сердца», пользуясь выраженіем самого Бѣлаго, — и вмѣстѣ с тѣм, книга нестерпимая, отталкивающая самоупоеніем, заносчивостью, болтливостью, двуличностью, готовностью от чего угодно отречься, постоянной мелко-бѣсовской язвительной усмѣшкой над всѣм и над всѣми! Андрей Бѣлый был одной из центральных, одной из «ведущих» фигур русскаго символизма. Читаешь его воспоминанія и волей-неволей думаешь: что же, дѣйствительно все это было сплошной комедіей, сплошным балаганом, с такими же интригами и жалкой закулисной грязью, как вездѣ, но без всякаго внутренняго обоснованія или оправданія? Что же, дѣйствительно столичные, не в мѣру утончившіеся адвокаты, на мистико-эстетических сборищах, кололи друг друга булавками, пили из золотой чаши кровь, а поэты и философы в стихах и в прозѣ намекали, что это-то и есть обряд «очищенія нашего быта и привѣтствованіе новой зари», — и только? Короче, что же, ничего, кромѣ вздора и взаимнаго позорнаго обмана не было? Нѣтъ, стихи Бѣлаго противорѣчат его поздним разоблаченіям, самооплеваніям и раскаяніям. Противорѣчит им такое явленіе, как Блок, который был его ближайшим «соратником» и в то же время был едва-ли не послѣдним в русской литературѣ воплощеніем совѣстливости, по честности и требовательности к самому себѣ — прямым потомком Льва Толстого. Блок не обманывал навѣрно и навѣрно не соглашался быть обманутым: значит, не все было пустой, глупой игрой и в тѣх настроеніях, с которыми он сроднился. Были адвокатскія булавки, но было и другое. Что? Трудно теперь, в тридцать восьмом году, когда «иных уж нѣтъ, а тѣ далече», об этом вспоминать и рассказывать. Откроем «Вѣсы» или пестрыя, нарядныя скорпіоновскія изданія: хочется улыбнуться, перелистывая, и признать, что «не было ничего». Но правильна-ли эта оцѣнка? Была молодость, были мечтанія, предчувствія, надежды, одиночество, «оранжевые закаты по вечерам».

Это, впрочем, было у всѣх, всегда. Закаты волновали и Вертера. Было смутное ощущеніе обреченности нашего, нам близкаго міра, так внезапно и страшно оправдавшееся. Еще многое такое, что иначе, как словами «что-то», «как-то», «куда-то» теперь и не выразишь. Блок мучительно, в теченіе всей своей жизни, пытался пробиться сквозь идейные и словесные туманы к свѣту отчетливаго смысла и дѣйствія, — и «сгорѣл» в этой борьбѣ. В Андреѣ Бѣлом постоянно чувствовался душок добровольнаго предательства, Блоку глубоко чуждый, — и он потѣшался над своими пороками с той же страстью, как служил им.

Золотому блеску вѣрил,  
А умер от солнечных стрѣл.  
Думой вѣка измѣрил,  
А жизни прожить не сумѣл!

Не смѣйтесь над мертвым поэтом.  
Снесите ему вѣнок...

Это — стихи Бѣлаго, одно из самых характерных для него, беспомощных, пронзительных и прекрасных стихотвореній. Неужели надо вѣрить только поздним запискам, ведшимся в состояніи ужаснаго раздраженія и унынія, а таким строкам вѣрить не надо? К трем томам воспоминаній Андрея Бѣлаго слѣдовало бы поставить эпитафией эти слова: «Не смѣйтесь над мертвым поэтом». Только они и способны немного смягчить впечатлѣніе, оставляемое этими книгами.

Позволю себѣ подѣлиться воспоминаніями. Впервые я увидѣл Андрея Бѣлаго на его лекціи в Петербургѣ, за нѣсколько лѣтъ до войны. В Петербург он наѣзжал довольно рѣдко, и для тѣх, кто тогда только начинал умственно и душевно жить, не было и рѣчи, чтобы можно было на доклад его не пойти. О чем он читал, — все равно: Андрей Бѣлый будет говорить, надо, значит, его слушать! В выраженіи «мы», «для нас» есть всегда какая-то неясность. Кто «мы»? — в правѣ спросить всякій. В данном случаѣ «мы» — это поколѣніе, люди, которым кружил головы полу-романтической, полу-религіозный тон новой русской поэзіи, ея неясныя взыванія к Владимиру Соловьеву, который будто что-то «знал» и о чем-то «промолчал», ея ожиданія чудесных превращеній и свер-

пей. Принято считать, что русская молодежь предвоенных лѣтъ дѣлилась на «декадентов» и «общественников». Это и так, и не совсѣм так. Послѣ 1905 года в стихи Блока и Андрея Бѣлаго вошло слово Россія, правда, в том гоголевском его звучаніи, которое препятствовало опредѣлить, о чем, собственно говоря, рѣчь: географическій-ли это термин, имя-ли народа, сумма культурных традицій и устремленій? Россія — «родина». И Гоголь, и Блок предпочитали называть ее Русью, как болѣе ласкательным, «интимным» именем. Мы «декаденты» догадывались, что уже о ней думал Блок, рассказывая о своей незнакомкѣ с «очами синими, бездонными» и что, во всяком случаѣ, время демонстративно-эгоистических замыканій «в области прекраснаго» безвозвратно прошло. Безвыходность и бесплодность эгоизма нам была ясна. Бѣлый посвятил один из своих тогдашних сборников памяти Некрасова, и это был знак, что должен быть найден мост. Да и какое же «преображеніе міра» в башнѣ из слоновой кости, с равнодушіем ко всему, что способно мало-мальски нарушить «часов раздумій сладкій ход»? Дѣленіе на декадентов и общественников во многом было основательно. Но не во всем. Судили по внѣшности. В петербургском университетѣ существовали семинаріи, гдѣ утвердилось обращеніе «товарищ», существовали и другіе, гдѣ оно вызывало молчаливое осужденіе. Общественники-студенты щеголяли косоворотками, эстеты и декаденты бѣлыми воротничками, что как будто доказывало классовое, социальное расслоеніе! Но в сознаніях шел порою процесс, далеко не столь же элементарный, и опредѣлять его по воротничкам и манерам было бы опрометчиво и близоруко. Не одни только маменькины сынки были увлечены духовным движеніем, которое на вершинах своих жило ожиданіем примиренія двух жизненных начал: личнаго и, как тогда говорили, — «соборнаго».

На эстрадѣ длиннаго и, как сарай, мрачнаго зала петербургскаго Солянаго городка стоял человек, еще молодой, но уже лысѣющій, говорившій не то с публикой, не то с самим собой, сам себя улыбавшійся, обрывавшій рѣчь в моменты, когда этого меньше всего можно было ждать, вдруг застывавшій будто в глубоком недоумѣніи, потом внезапно раздражавшійся потоком безудержно-быстрых фраз. Перед ним был пюпитр, похожій по формѣ на церковный аналой. На пюпитрѣ горѣли двѣ свѣчи в тяжелых серебряных подсвѣчниках. Лицо Андрея Бѣлаго было слабо

освѣщено их колеблющимся пламенем. По временам оратор протягивал къ подсвѣчнику руки и в такой «ератической» позѣ на три-четыре секунды замирал.

Было в его обликѣ что-то торжественное и смѣшное. Аналой, свѣчи и какая-то слишком декоративная назойливая «вдохновенность» рѣчи, — все это явно было бутафоріей, при том бутафоріей грубоватой и наивной. Но за баловством и очевидным кокетством чувствовалась глубоко-взволнованная, подлинно «ищущая» душа. Сплетеніе юродства с серьезностью удивляло. Андрей Бѣлый, как равный, спорил с Ницше, или с Гете, цитировал Платона с такой живостью и запальчивостью, будто творец «Федона» тут же, вот здѣсь, находится рядом с ним на эстрадѣ, с совершенной естественностью вводил слушателей в круг «вѣчных вопросов», им внезапно превращенных во что-то насущное, животрепещущее, злободневное, — и вмѣстѣ с тѣм ломался, искажался, присѣдал, подпрыгивал, одним словом, комедіанничал... Он и убѣждал, и раздражал. Он был слишком блестящ, чтобы убѣдить окончательно. Параллель с Блоком напрашивалась сама собой, и уже тогда складывалась не в пользу Бѣлаго, — хотя тогда-то именно и распространено было убѣжденіе, что Бѣлый «талантливѣе». Сам Блок, совершенно свободный от обычной литературной зависти, это убѣжденіе охотно поддерживал. Не знаю, правильно оно или неправильно, да и нѣтъ вѣсов или прибора, при помощи котораго можно было бы это провѣрить! Но если правильно, то приходится сдѣлать вывод, что понятіе таланта в узком смыслѣ слова не может быть ни в коем случаѣ признано рѣшающим для опредѣленія значенія писателя: это одно из слагаемых, не болѣе. Кромѣ него, нужны сердце, совѣсть, ум, с ним постоянно и неразрывно связанные, а не упражняющіеся сами по себѣ в придумываніи метафизических фокусов, нужна почва, на которой зерно таланта проросло бы. Блок как бы «дорастил» себя, дотянулся в чистом и длительном напряженіи до высот поэзіи, до права говорить за всю эпоху и представлять ее, до противостоянія Пушкину в исторических судьбах русской литературы: каковы бы ни были его «паденія», они этому не противорѣчат! Бѣлый же вольно или невольно сгубил себя, и как бы ни было удобно об'ясненіе, будто «погубить себя, значит спасти себя», нельзя ссылайкой на эти глубочайшія и священныя слова покрывать рѣшительно все! От благочестиваго смиренномудрія до кощунства ближе, чѣм от

великаго до смѣшнаго. Имѣет значеніе, — как губить себя и за что.

У Блока было огромное чувство отвѣтственности за все сказанное и сдѣланное: оно-то и возвысило его. У Бѣлаго все всегда было наполовину на вѣтер, и, как вѣтер, все пронеслось сквозь его сознание, не пустив корней. Геніальна была у Андрея Бѣлаго, в сущности, только его впечатлительность. Он на все откликался, схватывал на-лету любую мысль, бросал ее, не успѣв додумать, переходил к чему-нибудь новому, оставляя и это, — он весь раздираем был взаимно-враждебными стремлениями и притяжениями. Но за впечатлительностью не было почти ничего. Во всяком случаѣ, не было личной творческой темы, так явственно сквозящей в каждой строчкѣ Блока. Бѣлый мог быть нищепанцем, социал-демократом, мистиком или антропософом с одинаковой легкостью, с одинаковой искренностью: врывающійся в его сознание идеи, результат чьего-нибудь долгаго и, может быть, дорого обошедшагося личнаго творчества, выталкивали сразу все, чѣм жил Бѣлый до того, и в пустотѣ обосновывались с комфортом. Бѣлый провѣрял их по книгам или догадкам, но у него не было того духовнаго опыта, в свѣтѣ котораго можно было их по-настоящему разсмотрѣть. Оттого, в концѣ концов, все им написанное и сказанное, — кро-мѣ нѣскольких стихотвореній, — лишь «слова, слова, слова»... В лучшем случаѣ, — это блестящая импровизація. Ей придает значительность только то, что сам Бѣлый сознавал порочность своей непециально поверхностной творческой природы и, конечно, этим сознанием терзался, пытаясь, как чорт у Достоевскаго, воплотиться в какую-нибудь «семипудовую купчиху»: под конец жизни купчиха и явилась ему в образѣ діалектическаго матеріализма и упрощеннаго, опичаннаго Лениным, гегелианства. Бѣлый клялся, что, наконец, познал истину и обрѣлъ тихую пристань. Договорился он даже до необходимости рѣшительной «перестройки» под наблюдением партійных учителей. Но в его писаніях звучала такая путаница чувств и настроеній, такая неразбериха стремленій и надежд, такое страданіе, наконец, что в перестройку никто не вѣрил. От лекціи в Соляном городкѣ невольно переносишься воображеніем к его бесѣдам с новѣйшим «молодыком». Что было дѣлать ударникам и литбружковцам, внезапно занявшим посты руководителей русской литературы, с этим растерянным, больным и необыкновенным человѣком, то требовавшим для себя каких-

то особых материальных условий и общавшим — в «Записках мечтателей» — создать «невиданныя в міръ полотна», то утверждавшим, что старая символическія мечты нашли свое свершение в сталинской пятилѣткѣ, то отрекавшимся от прошлаго и издѣвавшимся над своим дѣтством, над былой своей средой, над друзьями отца и личными своими друзьями. Они сторонились его, считали Бѣлаго «обломком». Обломком он и был, конечно, — всегда, вездѣ! Он не мог творчески жить и развиваться, потому что, повидимому, это не был настоящій «организм». Но обломки бывают разные. Этим, — все-таки, можно залюбоваться, этот — можно предпочесть множеству иных, вполне благополучных писательских обликов и судеб. Всматриваясь в него, смутно догадываешься, чѣм мог бы стать человек и поэт, если бы природа не захотѣла в послѣдній момент поглумиться над своим созданием, и, надѣлив его всѣми дарованиями, не забыла научить, как ими воспользоваться.

Три тома мемуаров Андрея Бѣлаго — «На рубежѣ двух столѣтій», «Начало вѣка» и «Между двух революцій» — относятся к послѣдним годам его жизни. Бѣлый был болен, существованіе у него в Россіи сложилось очень трудное. На него со всѣх сторон покрикивали. Его учили уму-разуму. Достаточно прочесть первые строки предисловія к «Началу вѣка», написаннаго Л. Каменным, — тогда, еще в 1933 году, еще, в качествѣ авторитетнаго марксиста, судившаго, гдѣ добро и гдѣ зло, гдѣ истина и гдѣ заблужденіе, — чтобы понять, в каком положеніи Бѣлый очутился. Предисловіе обыкновенно имѣет характер рекомендаціи. Вот что писал Каменев в началѣ его:

«С писателем Андреем Бѣлым произошло трагикомическое происшествіе: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрѣнія переживаній самого писателя. Трагикомедія заключалась в том, что искренно почитая себя участником и одним из руководителей крупнаго культурно-историческаго движенія, писатель на самом дѣлѣ проблуждал на самых затхлых задворках исторіи, культуры и литературы».

Вот заключительныя строки предисловія:

«Октябрьская революція спасла кое-кого из этого поколѣнія буржуазной интеллигенціи, напримѣръ, автора «Начала вѣка» — и, быть может, спасет еще кое-кого. Но чтобы спасти их, она

должна была взять их за шиворот и сорвать с того пути, по которому они двигались, ибо по самому своему характеру это была обреченная на гибель группа. Без октябрьской революціи путь ей был предопределен. Наиболее «дѣловые» и «серьезные» из них, вроде Мережковских или Булгаковых, стали бы архіереями свѣтской церкви штампованной буржуазной идеологіи, а другіе, менѣе устойчивые и менѣе солидные, — шутами при ней».

Бѣлый добавил к тому, что написано было Каменевым, нѣсколько слов «от автора»:

«Воспитанные в традиціях жизни, которыя претят, в условіях антигигіеничных, без физкультуры, без нормального отдыха, веселых пѣсен, товарищеской солидарности, не имѣя возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы, — мы начинали полукалѣками жизнь. Юноша в двадцать лѣтъ был уже неврастеником, самым противорѣчивым истериком... Странен для нашего времени образовательный стаж нанобразованнѣйших людей моего времени. Я рос в обстанин профессоров, среди которых был ряд имен европейской извѣстности. С четырех лѣтъ я разбирался в гулѣ имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Коперник и так далѣе. Не было одного имени — Маркс... Я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сэн-Симона, Бюхнера, Молешота, — стыжусь, — Чернышевскаго, Ленина. Что же я читал? Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше, Платона...» Слово «стыжусь» к этому списку не добавлено, но выбором чтенія Бѣлый горестно и смущенно мотивирует, что «борясь» с Кантом, я ничего противопоставить Канту не мог». Горечь и смущеніе испытывает он, вѣроятно, в самом дѣлѣ и заражает ими читателя. Но смущеніе это, так сказать, «с другой стороны».

Отдѣльные томы несхожи между собой. Первый, дѣтскій, посвященный московской профессорской средѣ и отцу поэта, знаменитому математику Н. В. Бугаеву, при всей своей желчности, все-таки, спокойнѣе и «добрѣе» второго, а в особенности послѣдняго. Первый — для Бѣлаго сравнительно мало показателен, так как в чуждой ему атмосферѣ автору не удается развернуться. Автор издѣвается чуть-ли не над всѣми, кого вспоминает, но издѣвается без «вдохновенія», без наслажденія! Что ему московскіе профессора, что ему, напримѣр, Максим Ковалевскій, у котораго «сидѣлъ я на колѣнях, поражаясь мягкости его живота», или Ли-



жуд, «под животом котораго я игрывал»? Почти всѣх друзей и сослуживцев отца Бѣлый изображает чудаками, поясняя, впрочем:

«Я хочу, чтобы меня поняли: чудаки в условіях современности — отрицательный тип; чудаки в условіях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающій уважительнаго вниманія».

Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно, как портрет, а не как поэтическій образ. Однако, за давностью лѣтъ первый том воспоминаній Бѣлаго легче воспринять именно, как поэтическую фантазію. Едва-ли ученая Москва конца прошлаго вѣка была сплошь чудаковатой и даже придурковатой, как хочет ее представить автор, — и, вѣроятно, такія, напримѣр, страницы слѣдует скорѣе отнести насчет его ироническаго воображенія, чѣм признать в них безпристрастіе лѣтописца.

«Много я бытов видал, во многих бытах я жил, но такого ужаснаго, тусклаго, неинтереснаго быта, какой водворила профессорша восьмидесятих годов, я, бѣжавшій давно от профессорш, — могу смѣло сказать, не видывал я такого быта: купцы, офицеры, художники, революціонеры, рабочіе, крестьяне жили красочнѣе средняго профессора и средней профессорши; ни у кого «как у всѣх» не блюлось в такой твердости; ни у кого отступленіе от «как у всѣх» не каралось с такой жестокостью! Профессор сидѣлъ заключенный в своем кабинетѣ с профессоршей, за него тарахтящей; в гостиной она тарахтѣла; он глухо мычал и улыбался; в результатѣ вынашивалась тиранша, которой внушалась власть неограниченная и тупая».

Впрочем, кое-что подлинно — интересно и в качествѣ свидѣтельства лѣтописца. Напримѣр, рассказ о В. И. Танѣевѣ, московском адвокатѣ, который, повидимому, был чудаком настоящим. «Его идеалами были: Робеспьер, Пугачев. Он собрал цѣнную коллекцію изображеній Пугачева. Одно из них, увеличив, повѣсил, как икону, у входа в свой собственный библиотечный зал, и всякаго, ведомаго в зал (это был ритуал), останавливал перед иконой, прочитывал лекцію и послѣ, отвѣшивая нижайшій, до полу поклон не то Пугачеву, не то собственным словам о нем, припѣвал плачущим громким голосом, напоминавшим голос Толстого:

— Вот самый замѣчательный, умный и талантливый русскій человек!»

У Гайфева, как вспоминает Бѣлый, существовала любимая фраза, которую он постоянно повторял:

— Это будет, когда мужики придут рубить нам головы.

Московскіе его собесѣдники посмѣивались. Но «чуждак» оказался, надо сознаться, довольно дальновидным человѣком.

Второй и третій тома тѣснѣ друг с другом связаны, хотя и отличны, все-таки, по общему тону. Третій том писан Бѣлым незадолго до смерти, когда ему, очевидно, все уже было болѣе или менѣе безразлично. Он обижен был на цѣлый свѣтъ, он сводил счеты с каждым, кого вспоминал. Каждому доставалось по-разному, а изобрѣтательность Бѣлаго в придумываніи особенно оскорбительных и отвратительных характеристик была неистощима. Откровенную грубую брань, неприятно, а часто и больше, чѣм неприятно: непристойно — повторять. Поэтому о многих страницах второго и третьяго тома не хочется вовсе упоминать. Надо только подчеркнуть, что, опустившись и обрюзгши духовно, Бѣлый ничуть не ослабѣл, как художник. Попадаютъ у него главы поистинѣ ослѣпительныя, полныя какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы. Но какое коварство, — и откуда оно! Строки о Розановѣ, котораго Бѣлый величал когда-то «одним из первѣйших писателей русских»: «Можно-ли назвать разговором варенье желудочком мозга обо всем, что ни есть: о Мережковских, о себѣ, о Петербургѣ? Он эти отправленія выбрызгивал с сюсюканьем без конца и без начала. Какая-то праздная и шепелявая каша с взлетаніем бровей. В вареньѣ было что-то наглае, в невнянѣйшем видѣ — таймая злость».

Или глава о Вячеславѣ Ивановѣ, котораго Бѣлый называл «мудрецом и учителем». «Был період, когда я подумал: не волк-ли сей овцеподобный наставник?.. Не доставало только, чтобы он, возложивши терновый вѣнец на себя, извлек восклицаніе:

— Се человѣкъ!

Прошу не смѣшивать с евангельским текстом. В контекстѣ с показом Иванова «се человѣкъ» означает:

— Се шут!

Таким мнѣ казался он. Казалось, что вырос он из нѣмецкаго учителя в какого-то Мельхиседека. Прошу не смѣшивать с Мельхиседеком библейским. В контекстѣ с показом Иванова Мельхиседек означает: почти шарлатан.

Ставший в Россіи поэтом, почтенный профессор Иванов со-всѣм обалдѣл, перепутавши жизнь с эпиграфикой, так что исто-рія культов от древних Микен до руин Элевзиса, попав из му-зея в салон, расцвѣла в чепуху. Видно бросилась в голову кровь, застоившаяся в семинаріи!»

О других лучше промолчать, щадя, прежде всего, самого раз-сказчика. Выдѣляются, пожалуй, только нѣкоторыя записи о Гершензонѣ, о Александрѣ Бенуа, в особенности о Федорѣ Соло-губѣ.

У Сологуба давно и прочно сложилась репутація тяжелого, рѣзкаго на язык человѣка. Но всѣ, видѣвшіе его в старости, по-слѣ революціи и послѣ гибели его жены А. Н. Чеботаревской, сходятся в том, что он как будто преобразился, «просвѣтлѣл» от несчастья и стал в скромности и простотѣ своей обаятелен. Бѣ-лый посвятил ему самыя сердечныя, — без всякой сентимен-тальности — страницы в книгѣ.

«Лишь послѣднія встрѣчи показали мнѣ его со-всѣм неожиданно. Я имѣлъ каждый день удовольствіе слушать его. Он так красиво говорил, вспоминая свои впечатлѣнія от пѣвицы Пат-ти, что Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее! Он перед смертью силился вобрать все в себя и на все отзываться. Иванов-Разумник и я молча внимали тѣм пѣсням: он казался в эти ми-нуты сѣдым соловьем.

В четыре часа являлся пылающій чай в тихой квартиркѣ Разумника. В окна глядѣла дощвѣтающая сирень. Разумник Ва-сильевич начиналъ стучать в стѣну, и в отвѣтъ хлоп - хлоп входная дверь.

— Это Федор Кузьмич!

И шаги, и запах. Алебастровая голова лысой умницы, бѣ-лой, как лунь, появлялась к чаю. Садясь за стакан, он хмурѣл и поохивал:

— Тяжко дышать!

Чаю откушав, старик просвѣтлялся. С растеряной, ставшей нѣжной улыбкой, сіял голубыми глазами на все и рассказывал точно арабскія сказки: о Патти, о жизни, о строчкѣ стиха. Че-тыре часа журчал он каждый день. И бывало заслушаешься. И

я, его бѣгавшій двадцатилѣтня, улыбался с утра и думал: «И сегодня явится сказочник Федор Кузьмич».

С Блоком у Бѣлаго отношенія сложились трудныя. Воспоминанія его о нем, помѣщенные в берлинской «Эпопее», достаточно извѣстны. Однако, в книгѣ «Между двух революцій» много и новаго. Неожиданна — явная недоброжелательность. Не стану заподозривать автора записок в том, что утвердившаяся и окрѣпшая за послѣднее десятилѣтне слава Блока в сохѣдствѣ с померкшим его собственным ореолом внушила ему враждебныя чувства. Как звать, чѣм они вызваны? Но если и прежде Бѣлому случалось упрекать Блока в идиотизмѣ, в «чепуховитости» и в «абсолютном отединеніи от всякой мыслительной культурности» («Начало вѣка»), то в самые послѣдніе годы жизни он пошел много дальше. Он уже не Блока упрекал, а себя в том, что «образ сѣраго Блока был мною вычищен».

«Воспоминанія, напечатанныя в «Эпопее», продиктованы горем утраты. В них образ сѣраго Блока непронизовно мною вычищен: себѣ на голову. Чтобы возболнстал Блок, я вынужден был на себя напалить козлѣк! Не могу не винить себя за фальшь ложнаго благородства».

Бѣлый не склонен больше к «самоуниженію и докихотству», не желает, чтобы Блок у него «блестѣл, как самовар». Сравненіе с самоваром краснорѣчивѣе всѣх дальнѣйшихъ разсужденій и выдает чувства, с которыми мемуары писаны. Сколько бы Бѣлый ни говорил о своем «благородномъ другѣ», в разсказѣ он останавливается на чертахъ, с благородствомъ имѣющихъ мало общаго. Правда, разсказчикъ скрывается за спину поэта Сергѣя Соловьева, вмѣстѣ с которымъ гостил у Блока в деревнѣ, образуя «тронцу друзей». Это Сергѣй Соловьевъ восклицалъ: «Нѣтъ, каковъ луи, каковъ клеветникъ!» Это Сергѣй Соловьевъ назвалъ «Балаганчикъ» — «шедевромъ идиотизма». Но Бѣлый молчитъ и не отмежевывается отъ этихъ оцѣнокъ. Обычная его словоохотливость измѣняетъ ему какъ разъ в тотъ моментъ, когда было бы до крайности интересно узнать, каковы были его личныя сужденія.

Поставимъ здѣсь точку. Цитаты, надѣюсь, убѣдили, что все, сказанное до нихъ, не было совсѣмъ голословно. Книга валится изъ рукъ, хотя и есть в ней — какъ же этого не чувствовать и не слышать! — тотъ дребезжащій звукъ «оборвавшейся струны», кото-

рый вмѣстѣ с широчайшей умственной порывистостью облагораживает писанія Бѣлаго. Книга ужасна, но с недоумѣніем читая и перечитывая его, вспоминаешь, все-таки, чѣм и почему Бѣлый когда-то был дорог, и за что многіе любят его и до сих пор.

Судить Бѣлаго не будем. Прощать ему что-либо или не прощать — не наше дѣло. Но и восхищаться разносторонне - разработанным, виртуозным предательством, с оправдательными восклицаніями вродѣ «что за талант!» — откажемся. «Не смѣйтесь над мертвым поэтом». Можно было бы поставить и другой эпиграф к воспоминаніям Бѣлаго, — то, что «невольнo думалось» когда-то Тургеневым при видѣ Гоголя: «Какое ты умное, и странное, и больное существо».

Георгій Адамович.

БИБЛИОТЕКА  
«ВОЗРОЖДЕНІЕ»  
№ 3569  
14, av. des Champs-Élysées,  
Paris 10<sup>e</sup>.